

Московский альбом

Живу в своей квартире
Тем, что пило дрова.
Арбат, 44.
Квартира 22.
Николай Глазков

...Зато поэт Глазков напротив жил.
Булат Окуджава (Арбат, 43)

Поэты похожи на собственные стихи не меньше, чем собаки на своих хозяев. Ранней осенью 1960 года мы жили в Тамани (так и тянет добавить: в лермонтовской). Мы — это компания из четырех человек, двух из которых назыву по причине их громкой литературной известности: Владимир Максимов и Наум Коржавин. И вот как раз тогда от Коржавина, по-простецкому — Эмки, я услышал впервые стихи, очаровавшие сразу и наповал: «Ни одной я женщины не имел и не ведал, когда найду. Это было на озере Селигер в 35-м году...». И так далее.

То есть имя их автора, Николая Глазкова, и отдельные, легендарные строки достигали меня и в невежественной студенческой юности. Первым делом, конечно, памятно решительно всем: «Я на мир взираю из-под столика. Век двадцатый — век необычайный. Чем столетие интересней для историка, тем для современника печальней». (Причем «из-под столика» казалось метафорой подполья — да, возможно, и было ею, но произвольно, ибо, как выяснилось много позже, все оказалось бесхитростней: азартный поэт, проигравши, кажется, в шахматы, по условию сочинял стихи под столом.) Или: «Мне говорят, что «Окна ТАСС» моих стихов полезнее. Полезен также унитаз, но это не поэзия». Да и словечко «самсебяиздат», давнее Глазкову основание похвалиться потом: «Самиздат» — придумал это слово я еще в сороковом году», — и оно стало известно мне гораздо

на коем надежно-легко возлежала десятилитровая бутылка молодого вина. Мы с Эмкой хотели полакомить им московских друзей.

Моя аналогия — наверняка — примитивна до уровня пресловутого кича, но с такой же вот видимой (да, только видимой!) легкостью нес Коля Глазков свою судьбу, отчего и она сама казалась легкой. Впрямь: что скажешь о человеке, который при всяком новом знакомстве не только садистски терзает вашу ладонь пожатием, больше похожем на волчий капкан, но и нагло представляется: «Гений Глазков», и которого редко можно увидеть трезвым?

Что до последнего обстоятельства, могу авторитетнейше заявить, что соприродность спиртного, чем он бахвалился («С чудным именем Глазкова я родился в пьянваре»), была... Не то что тогда вовсе придумана, но — опять же отчасти легенда, игра, в чем я, в глупой и грешной младости сам этим кичившийся, убедился немедленно и злорадно, легко перебивши былинного богатыря. Главное же — другое. Не более (и не менее), чем игрой, была нескончаемая шутливость, впрочем, не раз обрывавшаяся горьким сознанием: «Я сам себе корожу жизнь, валяя дурака. От моря лжи до поля ржи дорога далека. Вся жизнь моя — такое что? В какой тупик зашла? Она не то, не то, не то, чем быть должна».

Хотя... Что такое творчество вообще, не говоря уж о странной приверженности к рифмам (о чем Толстой не шутя сказал: это, мол, все равно, что идти за сохой и пританцовывать), как не игра, которой можно ризанозобразить и сами будни? Не одни поэтические.

Из воспоминаний Давида Самойлова: «Заходил к нам иногда академик Ландау. И однажды он встретился с Глазковым... Ландау обычно называл себя «Дау», так и представился Коле».

— А я сегодня был на Ваганьковском кладбище и видел там могилу генерала Дау, — сказал

риков мой последний напишет путь?» — спросит Ахматова, отождествив себя с непреклонной никоианкой. А Глазков увидит свое подобие совсем в ином персонаже — в юроте, и даже обращение к любимой женщине прозвучит так: «Милая, хорошая, не надо! Для чего нужны такие крайности? Я юродивый Поэтограда, я заплачу для оригинальности».

Самоуничжение? Вот уж нет! «За то, что Глазков ни на что не годен, кроме стихов, — ему надо дать орден». Хотя, конечно, сама идея: государственная награда за бесполезность для государства, с точки зрения этого самого государства, есть абсолютный верх сумасшествия.

Эту свою репутацию поэт как раз и удостоверил строчками, мощными до действительной гениальности: «Поэзия! Сильные руки хромого! Я вечный твой раб — сумасшедший Глазков», — хотя, возможно, мы в это слишком послушно поверили. Да, мол, если и не юродивый, то чудак — или ребенок. Что с него взять? Даже коллеги, в отличие от государства, знавшие ему цену, склонявшие перед его первенством свои знаменитые головы, словно бы никак не могли отделаться и от некоей снисходительности. Любовной, понятно, но все же...

«Это Коля Глазков. Это Коля, шумный, как перемена в школе, тихий, как контрольная в классе, к детской принадлежащий расе. Это Коля, брошенный нами в час поспешнейшего отъезда из страны, над которой знамя развевается нашего детства». Цитирую Бориса Слуцкого, честно признающегося: «Сколько мы у него воровали, а всего мы не утанули». Что — правда. И насчет «воровали», вплоть до того, что Межиров озаглавил свою книгу словами Глазкова «Дорога далека», а известнейшая самойловская строка «Сороковые, роковые» — тоже из него. И «не утанули» — тем более верно: нельзя позимствовать своеобразие, тем паче уж столь резкое, что наводит кого-то на мысль о безумии, нонсенсе, алогизме.

ЮРОДИВЫЙ ПОЭТОГРАДА

раньше, чем привелось увидеть отпечатанные на машинке книжечки, где вышеуказанный неологизм красовался одновременно гордо и жалко взамен внушительных титулов: «Советский писатель», «ГИХЛ» или там «Молодая гвардия». Того, что приличествует «настоящей» книге. Но тут рядом со мной был родной, живой Эмка Коржавин, которому Глазков аж в 45-м адресовал такие проказливые стихи:

Ты пишешь очень много дряни,
Лишь полуфабрикат-руду,
Но ты прекрасен, несмотря ни
На какую ерунду.

Правда, именно этих строк мой друг тогда отнюдь не цитировал, будучи недоволен такой оценкой его поэзии, хотя бы и ранней, незрелой. Зато рассказывал, например, как в голодный военный год они с «Колей» торговали на рынке, кажется, на Тишинском, папиросами — поштучно и контрабандно. И когда Коржавина замели при облаве, длинноногий Глазков постыдно бежал, впрочем, затем разумнейше объяснив причину своей ретирады: «Понимаете, Эма, я держатель основного товара, и если бы вместе с вами арестовали меня, вам было бы хуже».

В общем, бывшая легенда помаленьку обрастала шершавой плотью, и, хотя подобное — не всегда помогает постичь сущность поэта (чаще — наоборот), я узнавал, познавал Глазкова, едва ли не с первого Эмкиного чтения затвердив наизусть:

Тиховодная гладь, байдарка и прочее,
Впрочем, молодость хуже, чем старость,
А была очень умная пунная ночь,
Но дураку досталась.
...А вокруг никого, кто б меня был сильней,
Кто бы девушку мог увести,
И я знал, что очень нравился ей,
Потому что умел грести.
А грести очень я хорошо умел,
Но не ведал, что счастье так просто.
А весло ощутило песчаную мель
И необитаемый остров.
Эта ночь — не моя, эта ночь — его,
Того острова, где был привал.
А вокруг — никого, а я — ничего,
Даже и не поцеловал.
...Мне бы лучше не видеть ночью ее,
А бродить одному по болотам.
А вокруг — никого. А я — ничего.
Вот каким я был идиотом.

Сейчас, сию секунду, перестукивая это на машинке, поймал себя на счастливом, поистине идиотском смехе: ведь прелесть же, правда? Чистейшая, нежнейшие строки, косолапо притворившиеся исповедью ужасного циника.

Короче: идем, Коржавин и я, по пыльной главной таманской улице и видим сутулого верзилу, который легко несет в длинных (хочется почему-то сказать: в протяженных) лапах тяжеленный чемоданище: тяжесть я ощущу минуту спустя, перехватив его у владельца по вежливой должности младшего. Но мгновением раньше, чем Эмка, обалдевший от неожиданности, заорал: «Коля!?!», я волшебным успел подумать: «Глазков?». Хотя ни разу его не видал — даже на фото.

Как объяснить? Разве что — см. начало моего очерка.

Оказалось: Николай Иванович Глазков, который и для меня в тот же день станет Колей, люто ненавидевший зиму, проклинавший ее в стихах, с приближением холодов начинал, по его же словам, продлевать свое лето, двигаясь все южнее, южнее, — когда и мы собрались уезжать из Тамани, он остался. Только поехал проводить до Керчи, где мы втроем, Коржавин, он, я, еще жили-пробродили пару дней; фотографически четко помню на прогибающемся трапе катерка «Пион», местными, разумеется, переименованного в «Шпиона» (рейс Тамань—Керчь), грациозно-нескладную Колину фигуру и приподнятое плечо,



Глазков, предварительно сообщив, что он «Г. Г.», что значит «Гений Глазков».

— Это не я, — отозвался Ландау, ничуть не удивившись, что перед ним гений.

— Я самый сильный из интеллигентов, — заявил Глазков.

— Самый сильный из интеллигентов, — серьезно возразил ему Ландау, — профессор Виноградов. Он может сломать толстую палку.

— А я могу переломить полено.

...Они дику понравились друг другу и сели играть в шахматы».

Игра... Не о шахматах, разумеется, говорю, но о той сфере, где, вечно играя, можно и заиграться.

В Тамани я столкнулся с принципиальной приверженностью Глазкова к купанию исключительно нагишом, — это пресерьезно аргументировалось с помощью аналогии, не совсем печатной, и это же не позволяет мне предложить для публикации фото из моего альбома, где мы с Глазковым на пляже. Но тот же обычай обыгрывался литературно; и возникла, скажем, история, как Коля непринужденно-нудистски купался в черте Москвы, на чем и был застигнут шокированным милиционером. «Гражданин! Вы что себе позволяете?» «А я эксгибиционист», — ответил Глазков своим полугусавым голосом, и страж порядка, озадаченный незнакомым словом, взял под козырек: «Простите! Я не знал».

Придумано? Возможно, и нет, если я сам полагал в детстве, что «вегетарианец» — это национальность. В любом, повторю, случае — шла игра в гения, в силачу, в нудиста, во что и в кого угодно, и как отделить потребность в игре, естественную для художника, от защитной реакции на неприязненную реальность? На ту, что не только отказывается признавать твою гениальность, но и в печать не пускает..

Поэт Владимир Корнилов догадался сопоставить два стихотворения, посвященных картине «Боярыня Морозова». «Какой сумасшедший Су-

«Господи! Вступися за Советы! Сохрани страну от высших рас, потому что все твои заветы нарушает Гитлер чаще нас». Писано в 41-м, и, быть может, если б не репутация юрода, гонораром за эти стихи стал бы лагерь или чекистская пуля. Меж тем тут не было и следа антисоветского ерничества (ну разве чуть-чуть). Как ни один изощренный ерник не мог бы — уже в излиянии любви и страсти — симитировать простодушие подлинного недоумения: «Идет весна, сияет солнце, цветут цветы, растет трава. А Инна мне не отдается, и в этом Инна не права». (Между прочим, своеобразнейшая серьезность здесь оказалась подтверждена и тем, что Инна, она же Росина, глубоко озадав собственную неправоту, стала Глазкову женой — потом, увы, и вдовою.)

Но: «Трудно в мире подлунном брать быка за рога. Надо быть очень умным, чтоб сыграть дурака». Трудно — сыграть; играть беспрепятственно — трудно до невыносимости. И опасно.

«Меня не изучал Рассадин», — начал «Г. Г.» надпись на дареной книге. А продолжил еще напористее: «Был этот факт весьма досаден! Заполнить надо сей пробел, хочу, чтоб он меня воспел». Что, в общем, и было исполнено — но, должен признаться, с немалой затратой усилий. Не благодарно творческих — если бы так; нет, понадобилась изворотливость, равно унижительная для критика и для поэта, дабы сочинить небольшую рецензию на плохую (да!) книгу большого поэта. Пусть неизбалованный Коля одобрил меня с напускной вальяжностью: «Качеством я доволен! Количеством — нет!» — я был изначально зажат в противоестественные тиски. Не похвалить Глазкова, наконец допущенного в печать, было преступно, убийственно, а хвалить — трудно, ибо два-три истинно глазковских стихотворения были надежно завалены в книжке ширпотребным мусором. В чем, к несчастью, сказался не один лишь редакторский произвол...

В знаменитой книге «Курсив мой» Нина Берберова говорит о самобытнейшем прозаике Алексее Ремизове: «...Он утерял контроль над своими чудачествами. Читатель устает ему их прощать...»

Дело обычное, и зря Саша Черный некогда разобиделся на Корнея Чуковского, заметившего, что маска идиота, надетая на умное лицо сатирика, случается, прирастает к живой коже. «Юродивый Поэтограда», имевший право сказать: «Я поэт ненаступившей эры, лучше всех пишу свои стихи» (заметим, как лукаво и тонко скорректирована похвальба: ведь «свои» же), — словом, он, то ли измученный судьбой того, кого чтут, но не печатают, то ли вправду выгравшишь в роль дурака-графомана, начал производить немереные километры стихов как раз не своих. Ничьих. Тех, о коих сам когда-то высказался презрительно: «Что такое стихи хорошие? Те, которые непохожие. Что такое стихи плохие? Те, которые никакие». «Самсебяиздат» снизошел до уровня общепринятой гладкописи; многочисленными приятелями, состоявшие на службе у литературного официоза, с искренней радостью приняли это падение, распахнув редакторские объятия; начали выходить «настоящие» книги в «настоящих» издательствах — и не единожды приходилось с горечью наблюдать, как некто, дождавшись глазковских книг, разводил в растерянности руками: «И это — Глазков? А мне говорили... Выходит, еще один миф?».

Легенда, однако, выдержала испытание реальностью — даже реальностью стихотворной массы, подпisanной Глазковым, но решительно несоприродной его дару. Впрочем, он-то сам в этом не сомневался:

Все сметут, сведут на нет
Годы, бурные, как воды,
И останется поэт —
Вечный раб своей свободы!..

Слава Богу, остался.

Станислав РАССАДИН